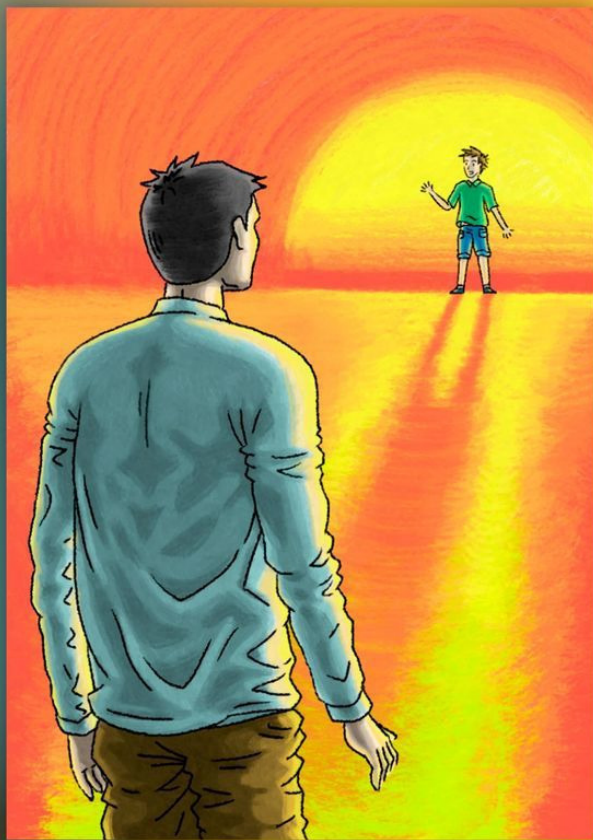


18+

Немешаев Валерий

# Возвращение в детство



# Валерий Немешаев

## Возвращение в детство

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=54979568](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54979568)*

*ISBN 9785449884091*

### Аннотация

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Эта книга – эксперимент. Погружение в прошлое. В свое детство. Мы часто бываем несправедливы к детям, забывая о том, как взрослые были несправедливы к нам, когда мы сами были детьми. Это книга – попытка вернуть себе то, что мы имели и забыли: чистоту, искренность, наивность, доброту, веру и любовь. Любовь не к себе, а к миру и людям. Детство – лекарство от многих человеческих болезней. Давайте задумаемся. Вернемся в детство и возвратимся оттуда другими. Дети и взрослые, не торопитесь взрослеть!

# Содержание

Эпизод 1	6
Эпизод 2	8
Эпизод 3	11
Эпизод 4	19
Эпизод 5	25
Эпизод 6	31
Эпизод 7	45
Эпизод 8	53
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Возвращение в детство

## Валерий Немешаев

Иван Бычков *Иллюстратор*

Венера Ахунова *Корректор*

Яна Марданова *Дизайнер обложки*

© Валерий Немешаев, 2020

© Иван Бычков, иллюстрации, 2020

© Яна Марданова, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-8409-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**Посвящается моим детям:**

Ольге, Полине, Александре, Никите.

**Благодарность:**

Татьяне Немешаевой – за помощь и поддержку в создании книги.

Даниле Косенкову – за материальную помощь в публикации книги.

Ивану Бычкову – за плодотворное творческое сотрудничество.

Андрею Новосёлову – за духовную дружескую поддержку.

*И кто не примет Царствия Божия, как дитя,  
Тот не войдет в Него. Будьте как дети,  
ибо таковых есть Царствие Небесное.*

*Евангелие от Марка*

# Эпизод 1

Эх, детство, детство!

Быстротечное, безвозвратное. Все твои периоды так неповторимы, так милы и так разнообразны.

День после рождения, неделя, месяц, год – в каждый срок ваш любимый ребенок абсолютно разный. С самого рождения каждый день в нем происходят важные перемены. Внимательно посмотрел на игрушку, потянул ручку в сторону мамы, улыбнулся папе, увидел пролетающую за окном птицу, узнал бабушку, услышал музыку, засмеялся самому себе – через все это ребенок познает окружающий его мир. С первых минут жизни принимает его таким, какой предлагаем ему мы – близкие люди. Наше видение мира мы передаем как форму и содержание этой формы в наследие нашему ребенку. В инстинктах и привычках, в наклонностях и привязанностях, во всем.

Ребенок лежит укутанный мягкой пеленочкой в своей уютной постельке и впитывает все, чем мы его окружаем: верим ли мы в Бога, что и как едим, курим в квартире, пьем ли пиво из горлышка бутылки, о чем и как спорим, какую слушаем музыку, если слушаем ее вообще, какие передачи смотрим по телевизору, читаем книги и как часто делимся содержанием прочитанного с близкими людьми – а главное – ребенок скрупулезно анализирует – нравится нам

все, что мы делаем, или не нравится. На непонятном, наивном и чутком уровне тщательно исследует абсолютно все наши привычки. С закрытыми глазами и открытыми настежь чувствами познает свой мир нашими поступками. И кончиками своих не оформившихся еще чувств впитывает наши «плохо» и «хорошо». Обманули – плохо, простили – хорошо, украли – плохо, вернули – хорошо.

Так юная душа в памперсе и чепчике проходит свои первые уроки нравственности и в большей мере принимает их на веру как непреложные законы своего формирующегося бытия. С первых часов, дней, месяцев после рождения, а, может быть, и раньше, ребенок полностью полагается на нашу воспитанность, культурность и порядочность. Учитываем ли мы это, родители?

Эх, детство, детство – розовощекое, беззаботное, бесконфликтное. Ты наполнено молочными реками и кисельными берегами, дни твои насквозь пропитаны солнцем, сияющим в безбрежном небе, а ночи обсыпаны серебряными звездами и луной, пришитой к черному небосклону бесцветными нитками.

Эх, детство, детство – убегающее в своих необузданных фантазиях дальше себя и прячущее от первого неосознанного страха свою любопытную мордочку в мамины теплые руки...

## Эпизод 2

Память человеческая безгранична. С хорошо натренированной памятью можно вспомнить все, что происходило в твоей жизни. Любой эпизод, любое намерение и поступок, любую мысль, жест и взгляд – при желании можно вспомнить абсолютно все. Ученые люди доказывают, что человеческая память имеет неподвластный нашему сознанию безграничный ресурс и отнюдь не ограничивается собственной жизнью. Существует генная память – утверждают психологи, и при очень большом желании мы можем вспомнить, чем жили, как работали, что любили и от чего умирали наши многочисленные предки. То есть, если сильно постараться, можно восстановить всю генеалогию своего рода. Если действительно такая возможность существует, то какой мощный культурный и духовный резерв заложен в памяти каждого человека. А главное, до чего не эффективно он нами используется. А почему бы не предположить, что наша память фиксирует в себе не только то, что с нами уже было. Вдруг – вы только вдумайтесь в это – в ней заложена возможность существования информации о нашем ближайшем и не очень ближайшем будущем!

Ведь узнают же о нашем грядущем по рукам, глазам, лицу, по звездам, наконец – маги, гадалки, экстрасенсы, колдуны. А проницательность, чутье, интуиция?

Иногда что-то подсказывает нам о предстоящей опасности или потере. Порой кто-то говорит внутри неслышным, плохо переводимым языком: не ходи туда, не делай этого, не бери того. Не прислушиваемся, не слышим, не верим. Рациональное сознание тяжелым гнетом подавляет эфемерное иррациональное подсознание. Ум часто сильнее души, а запрограммированное знание мощнее чувств и ощущений. Откуда же тогда приходит к нам эта импульсивная закодированная информация о будущем? Ученые парапсихологи утверждают, что из нашего мозга, из памяти, вернее, из ее закрытой части, находящейся, наверное, рядышком с нашей душой.

Если это так, то человек обладает полной информацией о себе, своем настоящем, прошлом, будущем. Вопрос заключается лишь в возможности этой информацией воспользоваться. Точнее, в желании этого. Потому что наши возможности – это кончики наших желаний, а желания – ах, как они непоследовательны, непостоянны и изменчивы. Они должны беспрестанно подталкиваться нашими усилиями, волей, необходимостью. Это всегда сопряжено с трудностями, потому что человек не любит себя преодолевать, потому что, по сути, он очень инертен, ленив ко всему нематериальному.

Преодолевая это слабое человеческое качество, я уже много лет пытаюсь проникнуть в свое прошлое. В самое раннее детство и еще раньше, когда не родился, когда только зарождалась Любовь, соединяющая сердца родителей. Ведь именно в ней самое начало ребенка, в ней начало всего. За-

чем?

Чтобы вспомнить о себе абсолютно все. Как я жил, как любил и как трусил, как верил и предавал. Как зарождались во мне все добродетели и все пороки, которые я приобрел и с которыми теперь живу. Это трудно, но эксперимент стоит того, ведь для того чтобы разобраться в себе и понять, почему ты так живешь, необходимо выяснить, а как же ты живешь. И честно ответить себе не поможет только день сегодняшней – необходимо заглянуть и во вчерашний, и позавчерашний день. Для этого надо всмотреться в себя, в свое детство и по-настоящему разобраться в себе там, чтобы понять себя здесь. Нужно постараться разглядеть наш мир – прекрасный и ужасный – наивными, неиспорченными глазами ребенка и попытаться прочувствовать его детскими чувствами, мыслями, ощущениями, приятиями.

Для этого необходимо заглянуть в свое самое начало, в ту покойную тишину, которая дремучими пластами лежит глубоко в каждом из нас. И там увидеть себя. Другого себя – маленького, неизученного, непознанного, незнакомого. Увидеть, вернуть и полюбить. И стать чуть-чуть добрее ко всем людям, к миру, к себе...

Ну что, вперед или назад – в мир детства!

## Эпизод 3

Детство.

В воспоминаниях о прошедшей жизни не всегда все сто-процентно и достоверно. Может быть, память имеет право иногда на легкий вымысел? Или фантазия, вмешиваясь в канву правдивого воспоминания жизни, приукрашивает его в ту или иную сторону? Бывает большая разница между тем, что мы помним и что хотим помнить, что вспоминаем и что хотим вспомнить. Беспристрастность должна обходиться без присущего нам эгоистического «хочу», потому что память в чистом виде всегда стремится к правдивому изложению прожитого. Правда всегда одна – толкований ее слишком много. Конечно, различные искажения возможны – потому что всегда хочется, чтобы в прошлом все было красивей, ярче, интересней, но главное, чтобы в приукрашивании правда не становилась кривдой, не искажалась совсем.

Мой рассказ-воспоминание о своем детстве стремится к истине. Глупо искать правды обманным путем. Тем более входя на территорию страны Детства, которая не очень-то любит лжи.

Родился я на южном Урале, где возле невысокого Уральского хребта расположился город Челябинск. Этот огромный промышленный монстр рос на берегу извилистой мелководной речушки Миасс, втягивая в свои многочисленные

металлургические домы все ее прохладные воды. Река мелела, заболела, истощалась. Воды ее окрашивались всеми красками радуги. Но, невзирая на все противодействия природы, большие машиностроительные заводы, как грибы, разрастались по ее берегам. Из домен огненными потоками выливался чугун, из цехов выползали огромные гусеничные тракторы, раскаленные трубы трассирующими пулями летели по дымным конвейерам, а высокие башенные краны, разбросанные по периметру всего города, закрывали обзор на окружающую природу. Своими мощными, ненасытными организмами заводы потребляли и другие бурные реки. Молодые человеческие силы со всех уголков страны стекались к их невзрачным проходным. Когда-то небольшой поселок Челябин, наполняясь ими, разрастался вширь и ввысь многочисленными деревянными бараками, клубами, магазинами, скверами, танцевальными площадками, детскими садами и кинотеатрами. Город стремительно рос.

После Великой Отечественной войны, когда в деревнях и селах нашей обескровленной родины людям жилось невыносимо тяжело, рабочим на строящихся предприятиях страны гарантировался скудный, но выживаемый достаток. Комнатка в бараке, работа, посильная для молодых, картошка и хлеб, а главное, главное – манящее светлое будущее, близкое и доступное.

Мои родители приехали в этот дымный и шумный город из разных концов страны. Мама – из Брянской глубинки, на-

чисто разоренной прошедшей войной и исторически овеянной славой домовых и ведьм, а папа – из-под Свердловска.

Село, в котором он родился и вырос, называлось Щелкун, а в нем, как говорил дед Иван, рождались самые веселые и задиристые на Урале ребята. Наверное, так и было: отец с утра до вечера горлопанил размашистые уральские песни, гонял голубей, играл в чехарду, танцевал в клубе, попивал водочку, дрался из-за девчонок и был всегда прямолинеен, весел и голосист. Между песнями, не задумываясь, учился. После школы окончил дорожный техникум и был направлен по распределению на металлургический завод в город Челябинск, где его уже ждала розовощекая крановщица Рая – смелая и неуступчивая девчонка из Лобановского поселка.

Эх... Славное море, Священный Байкал!..

В свистящих, извергающих снопы жарких искр металлургических цехах была их первая встреча. Была их любовь, трогательная, нежная, сумасшедшая и осторожная. В какие бы времена – самые тяжелые и драматичные – ни возникало это великое чувство, какие бы препятствия ни мешали его проявлению, если от сердца к сердцу протягивалась его живительная трепещущая нить, все остальное становилось малозначительным фоном, рамкой, обрамляющей живую чувствительную плоть Божественного шедевра. Поэтому время, к которому притронулось это чувство, всегда для людей самое счастливое, незабываемое и единственное.

Счастье. Счастье первых встреч, узнаваний, расставаний,

ожиданий, волнений.

Счастье брошенного и пойманного взгляда, счастье сердца, предложенного и принятого. И совсем не важна спина уходящего соперника, кровь на рубашке и кровь на лице, важен миг первого соединения рук, ресниц, губ, важен первый поцелуй с освежающим привкусом металла на губах.

Там, возле холодных прокуренных барачков, на морозе, на ветру, происходило сплетение большего, чем души.

Эх... Славный корабль, омулевая бочка...

Любовь – как украшает это чувство людей, делает их благородней, чище, добрей. Человек становится ближе к Богу, к себе, к природе, растворяясь в ней, становясь ею. Как важно помнить об этом всегда. Как научиться оставаться такими, хотя бы иногда.

Моя жизнь началась на окраине Челябинска, в одной из многочисленных одноэтажных построек металлургического района, где отец и мать стали жить вместе. Началась ранней весной, когда первые побеги подснежников и сняты только-только пробивали сквозь землю свои любопытные зеленые росточки.

Отопления в бараках не было, топились дровяные буржуйки, дымили папироски, дымили окна, дымили трубы заводов, простыни на веревках сушились первым солнечным теплом, и грубые лица людей у барачков и проходных, как и вся притихшая природа, тянулись вверх. А там, там плескалось синее, неподвластное никому, голубое уральское

небо. Всему радостное, приветливое, доступное. Люди раскрывались, воодушевлялись и пытались гармонично вписать в его бездонную красоту свои нелегкие судьбы.

Были ли все довольны трудной жизнью? Конечно нет. Но звучащая из репродукторов браваурная музыка, призывы к преодолению временных трудностей, а главное – молодость, общность, энтузиазм – делали эти трудности вторичными, легко преодолеваемыми. Люди жили в тяжелом, порой непосильном труде, и были людьми. Их спланивало нечто большее, чем пропаганда и социалистические призывы – дружба, товарищество, порядочность, честь. На Урале не любят двусмысленности в словах, криводушия в мыслях. Не любят лицемерия и двуличия. За взятое и не выполненное слово всегда спросят строго, жестко, по-мужски. И это правильно.

На Свет Божий я родился в декабре, тринадцатого числа в восемь часов. Морозное утро заводскими гудками встречало новый рабочий день.

В распахнутом от волнения пальто, с покрасневшимся от нетерпения лицом, с гвоздиками в руках и папироской в губах отец нервно ходил возле заиндевевших окон роддома, в одном из которых лежала моя мать.

В те времена, в шестидесятые годы прошлого столетия, медицина еще сохраняла таинство пола ребенка до его рождения. Конечно, какие-то прогнозы любопытные коммунальные соседи и родственники всегда делали. Но это были

только догадки, не более. Кто родится, мальчик или девочка, определяли роды. Только роды. Эта неизвестность создавала атмосферу магической таинственности, торжественности и непредсказуемости. И хотя многие молодые люди в существование Бога почти не верили, рождение нового человека всегда отождествлялось с потусторонним, не материальным явлением. Это было проявлением Божественным. Не нашим советским, а полулегальным, полузапретным – Его делом. В этом узле связывалось, казалось, несвязываемое – противоречащее друг другу – да и нет. Как-то увязывалось в одно и вера, и безверие. Но именно к рождению человека, к этому таинству, к этому Промыслу, как-то привязывалось это несоответствие. Наверное, это и есть несгибаемый дух Веры, всегда живущий в русских, даже в неверии – верить.

Но вдруг в белесом окне роддома зажглась лампочка без абажура. Замаячили суетливые расплывчатые силуэты. Снег под ногами отца зашипел от очередной недокуренной папироски, и, подтверждая или опровергая его взволнованный взгляд, сквозь иней стекла чей-то розовый палец медленно прорисовал – «сын». Теплом тела – по холоду стекла – в провисшей тишине – «сын». Мешая смотреть, пар изо рта рывками, скачкообразно поднимался вверх. Но и сами глаза, слезясь от холода, уже перестали видеть – сын. Сын! Мир на время застыл, отодвинулся, пропал куда-то. Только хруст снега под ногами, сжатый букетик красных гвоздик, онемение тела и обжигающая волна непонимания только что слу-

чившегося события.

А мать лежала в каком-то скрытом помещении роддома, помудревшая и повзрослевшая от тяжелой и счастливой женской работы. Все понимая и принимая. И свою силу, и свою боль, и свое счастье.

А ошалевший отец, теряя смятые папиросы, теряя теплую мелочь из карманов, частично теряя себя, шел к своим друзьям пить любимый «Белый аист». Это тоже тяжелая мужская работа – красиво жить, пить, хмелеть и умирать за свое и чужое счастье.

А я лежал в полутемной родильной, с номерком на выцветшем голубом одеяле, рядом с другими новорожденными, и ничего не понимал.

Я не понимал, зачем полная тетя, пахнувшая молоком, так яростно машет головой, вверх – вниз, вверх – вниз.

Я не понимал, какой стоит год и что это такое – год.

Я не понимал, кто я такой, откуда и зачем.

Я еще почти ничего не понимал, что уже понимали многие жители этой маленькой планеты.

Я понимал что-то другое, может быть, более сложное и важное. Но простые человеческие истины мне еще предстояло познать и открыть. Для себя.

Так закончился этот день и наступила ночь. Ясная и звездная. Стоял декабрь, сильно морозило. Поэтому ценнее всего было внутреннее тепло. Его ни за что не хотелось ни отдавать, ни терять. Мягкие ворсинки от одеяла щекотали гу-

бы и нос. Это смешило и раздражало одновременно, но расставаться с этим тоже уже не хотелось. Ведь это теперь был и мой мир. Незнакомый, строгий, мудрый и смешной... живой!

## Эпизод 4

Дети в любом возрасте гораздо глубже и умнее, чем это представляется взрослым. Они не так рациональны и расчетливы, коварны и лицемерны, как мы, но всегда ли эти качества можно поставить в заслугу взрослому человечеству? Дети наивны, и многое из того, что предлагает им мир, принимают на веру. Верю-не-верю – помните такую детскую игру? Дети чаще верят тому, чему мы, взрослые, категорически не верим. Перед нами два слова, «Вера» и «Сомнение» – на слух, даже без значений, какому из них вы отдадите предпочтение?

Доверительность ребенка – это его познавательный, духовный путь развития. Занозистый путь, с чувствительными уколами и синяками, но все же это самый единственный и гармоничный путь. Взгляните на окружающую природу, частью которой являемся и мы: она наивна, проста и доверчива. И весной, в периоды возрождения, и осенью, в периоды умирания. Она просто верит, что так единственно и возможно жить. Даже в соперничестве – порой смертельном – она искренна и откровенна. В этом наивном разнообразии, в этом откровенном простодушии она и прекрасна. Природа живет без подлости и предательства, но ведь не она придумала эти слова, чтобы жить их значениями. Плохие слова.

Первые эпизоды из детства, которые высветила моя па-

мать, очень наивны и по-детски трогательны.

Помню склонившуюся надо мной маму. Я лежал в деревянной кровати, и белые кораблики, качающиеся на волнах платья, наплывали на меня. Три выпуклых синих штриха – это волны, голубой цвет ткани – море, а белый кораблик? Для меня тогда это было небо, а мама в этом платье – праздник. Я притрагивался глазами к этому спокойствию и засыпал. И на всю жизнь полюбил три этих цвета – белый, голубой и синий. Красивое платье мамы и было тогда для меня мамой.

А когда приезжала бабушка Анна, папина мама, ее мягкие руки пахли свежее испеченным хлебом. А теплый хлеб пахнул бабушкиными руками. В туго обтянутой косынке, вся облитая солнечными лучами, она спокойно сидела на диване и смущенно улыбалась. А я глядел на нее и недоумевал: почему бабушка прозрачная? Насквозь. И теперь, во взрослости, старость всегда ассоциируется у меня с тихой, спокойной и прозрачной чистотой. К сожалению, уходящей.

Папу я видел мало, папа работал. За него на круглом устойчивом столе, почти в центре комнаты, стоял большой прямоугольный аквариум. Отец утверждал, что в него вливали десять ведер воды. Не знаю, так ли это, но моим детским глазам он казался огромным океаном, заполняющим пространство больше всей нашей комнаты. Там, за стеклом, переливалась, рябила и пестрила совсем другая, не понятная мне жизнь. И дело не в наплывающих на меня рыбах,

не в их открывающихся ртах, увеличенных стеклом. Дело было в другом. Между мной и этим сказочным водным миром установилась негласная, живая связь. Умные рыбы, водоросли, извивающиеся как змеи, пузырьки воды, струйками текущие вверх, мохнатые камни, зеленые и мудрые улитки, рисующие замысловатые дорожки на стекле – они всегда все молчали. Шевелились, пузырились, извивались, смотрели на меня и молчали. Они приглашали меня в свой безмолвный мир, и я с радостью и ужасом осознавал, что не имею права им отказать. Я протягивал свои пухленькие ручки к рыбам, и стремление попасть к ним было так велико, что пересиливало силу страха. Я не опускал рук, пока стеклянная стена не исчезала. Попадая в водный мир, я засыпал. Жужжание водного моторчика, качающего воздух, убаюкивало меня. А просыпаясь, я понимал, что рядом со мной, почти во мне, жил мир тишины – спокойный, красивый, зовущий. Мне казалось, что все жители этого мира знали о людях гораздо больше, чем мы о них. Это знание подавляло меня всей своей десятиведерной массой и смутно радовало. И когда вечерами отец брал меня из кровати, укладывая на свои пропахшие мазутом колени, я смотрел на его небритое обветренное лицо, на его теплеющие глаза и ждал, ждал, ждал, простого человеческого звука. И отец говорил. Он говорил! Слова его, как и небритость, слегка кололи мое лицо, мое желание, мои надежды, но эта облегчающая боль была совсем не большой. Отец долгое время казался мне непоня-

тым существом из аквариума, умеющим говорить.

Реже в моем доме появлялась бабушка Саша. Маленькая, сухая и подвижная, она всегда привозила из Лобановского поселка веселье, суету и запах самогона. Мамина мама знала много народных песен, частушек, и в песне ее морщинистое загорелое лицо разглаживалось умной русской красотой. В детстве я больше реагировал на ее грубоватую простоту в словах, чем на внутреннюю мягкость, жившую в поступках. И часто сторонился ее простодушных ласк, обижая своей закрытостью. Мы часто отдаем предпочтение внешней приукрашенности, обманываясь ее навязчивой доступностью. А внутреннюю красоту, прикрытую скромностью, видим реже. Наверное, это труд во встречном движении – видеть главное. Уже много позже мать рассказывала мне, что бабушка Саша была ведуньей – белой ведьмой. Она умела заговаривать куриц, лошадей, свиней и даже деревья, чтобы они плодоносили и не болели. Если ведунья хотя бы раз наговаривала что-то плохое на людей или животных, она навсегда лишалась этого дара, а наказанием была слепота или неизлечимая болезнь. Бабушкин колючий взгляд всегда выхватывал самое главное в человеке, и трудно было спрятать от этого взгляда любые намерения. Она всегда и всем говорила правду, и это многим не нравилось. А я, маленький, лежа в кровати, вглядывался в ее впалый беззубый рот и радовался – радовался, что вот укусить-то она меня и не сможет – нечем! Лежал и без причины хохотал над тем, чего взрослые

понять не в состоянии. Вот так.

Детская наивность и трогательность.

Что может поведать нам, взрослым, семи-восемь-девяти-месячный ребенок, лежащий перед нами в кроватке?

Что он думает, что хочет, куда устремлены его желания, чего он боится, что видит, что слышит, что любит и во что верит? Задумываемся мы над тем, что ничего не ускользает от его доверчивого любопытного взгляда.

Что любая мелочь, поступок – слово, крик, взгляд, угрожающий взмах руки – вкладывают в него частичку будущего взрослого человека.

Что красота, живущая рядом – от которой мы закрываемся шторами, дверьми, засовами, черствостью и невнимательностью – нужна ему как воздух, как вода.

Что любовь, которую мы не додаем ему, не возрастет за отсутствием ответными ростками. А человек без любви гибнет. Умирает и для себя, и для всех. Без любви все гибнет. Даже улитки в аквариуме.

Что добро, подаренное безвозмездно, это добро приобретенное.

Как вложить это в маленького человечка? Чем? Какими словами, поступками, чувствами?

А это очень важно, жизненно важно. Потому что ваш ребенок – это наш общий завтрашний день.



## Эпизод 5

Мне было не более двух лет. Я ходил в ясли. Вернее, меня водили в ясли. Возили на саночках по утреннему скрипучему снегу. Мерзли щеки, и ресницы смерзались друг с другом при моргании. Приятно было, когда, оттаивая от теплого дыхания, они неожиданно расклеивались и мир, заснеженный, белый и важный, вдруг появлялся из темноты. И так до самого детского сада – темнота-свет, темнота-свет – игра такая детская.

В детском саду, где находилась и моя группа ясельного возраста, мне больше всего нравилась манная каша с маслом. Ее подавали в маленьких фарфоровых блюдечках. Каждый раз цвет и рисунок блюдечка был разный. То синий, то желтый, то зеленый. Было почему-то очень важно, какой цвет выпадет сегодняшним утром. Из общей мисочки кашу посыпали рассыпчатым белым сахаром, который дома почему-то всегда был бурым. Каша была почти белой, и сахар почти белым, а растаявшее масло посередине – желтым, как солнышко, и это очень радовало.

После завтрака добрая няня водила с нами хоровод под песни, которые сама же и напевала. Важно было стать рядом с другом или подружкой, чтобы подержаться с ними подольше за руки, а может, и попеть, глядя в глаза. От этого настроение всегда улучшалось. После каши и хоровода друзья еще

больше становились друзьями.

Потом, если не морозило, нас водили гулять в небольшой палисадник за двухэтажным зданием сада. В гулянии самым интересным было одевание.

Няня со старой помощницей выводили нас в коридор, где у каждого был шкафчик на двоих. Одежда, аккуратно повешенная мамами, висела на двух противоположных вешалках друг против друга, чтобы не спутать – детей было много. Мы вставали каждый возле своего шкафа и, разглядывая животных на дверках, ждали. Разноцветные жирафы, зайчики и слонихи с улыбками смотрели нам в ответ. Безропотных и безучастных, нас начинали быстро одевать.

Если я сегодня дружил с Настей, то просил маму, чтобы меня обязательно раздели в одном шкафчике с ней, ведь это очень правильно. Родители тоже живут в одной комнате и спят под одним одеялом, раз любят друг друга. И мы переодевались в шкафчиках по дружбам и привязанностям, как взрослые, конечно, когда это получалось.

Деток быстро одевали, строили парами и выводили на улицу, чтобы, не дай бог, вспотели. И вот наш шкаф. Не разбирая, на меня сразу же начинали надевать Настины кофточки и штанишки, не очень замечая, что по размеру, да и по цвету они не очень подходят моему росту и моему полу. И мне бы усомниться, запротестовать, объяснить, что это не мое платье, не моя одежда, или хотя бы просто заплакать. Но глядя в молчаливые глаза детей, а главное, читая

в Настинных глазах такое же одобрение и восхищение происходящим, я тоже молчал. Молчал, как молчали почти все не предатели. Следом на Настеньку надевали мои одежды, и головокружительное сближение ощущалось во всем моем маленьком теле. От этой случайной игры в переодевание. От новой тайны, от первых не понимаемых грез и волнений. На морозном воздухе, чуть-чуть прогретом яркими солнечными лучами, мы часто не узнавали друг друга в друг друга, и перемещение одежд с плеча на плечо становилось совмещением интересов, характеров, а может быть, и судеб. Так мы становились ближе друг к другу, интереснее и понятней, ровно на расстояние между деревянными вешалками в наших домиках для одежды.

А потом был сон-час. Это было самое приятное время в яслях. Спать после очень вкусного обеда хотели все. Нас раскладывали по кроваткам, укрывали теплыми одеялами, и добрая няня-воспитательница читала сказку. Про волка и семерых козлят. Приятно было смотреть на белый потолок, на зашторенные окна, на блики солнечных лучей, пробивающихся сквозь шторы, и слышать монотонный голос воспитательницы, становящийся все глуше и глуше. Приятно было терять смысл повествования, терять смысл всего окружающего, всего наплывающего и уходящего. Приятно было цепляться тщетными, бессмысленными усилиями, задержать еще на мгновение, на одно только мгновение, наплывающий пуховый сон – чтобы потом рухнуть в него, ожидае-

мо-неожиданно, и утонуть без воздуха в теплой тишине. Как будто навсегда...

После сна мы играли. Игрушек было мало, а покататься на лошадке-качалке выстраивалась длинная очередь, которую почти никто не соблюдал. Плаксы – плакали, но никто не замечал постоянно ревущих. Плакс и ябед не любили. Сильный чаще всего оказывался на покрытой лаком лошадке, гордо оглядывая ждущих мальчиков и девочек. Было весело и немного стыдно, если ты больше положенного качался на лошадке. Слишком заигравшегося гурьбой стаскивали, и самая рассудительная девочка на время устанавливала порядок.

Бывали и драки, не злобные, сиюминутные. Когда ни за что не хотелось уступать, когда руки одновременно тянулись к одной игрушке или сильно обидели твоего друга, когда делали больно девочке, она рыдала, а воспитательницы не было рядом, когда не оформившиеся детские принципы сходились лоб в лоб и все это видели – причины для конфликтов жили всегда рядом с нами. Они всегда живут возле людей. Но, умываясь после драк в туалете, нам удавалось вместе с обидой, злостью и слезами смывать и причины этих конфликтов. Плечом к плечу над одним умывальником, намыленные ароматными кусочками мыла, улыбаясь, мы прощали друг другу все и, обменявшись прикосновениями хуленьких плеч, оставались друзьями. Пусть на короткое время, до новых ссор и обид, пусть, но мы твердо знали одно –

после плохого обязательно будет хорошее, после ссоры будет примирение, после слез – прощение.

– Прости меня!

– И ты меня прости!

Затем сумерки снаружи обволакивали окна. Воспитатели снова задергивали шторы, но надобность в этом была уже другая. Вечер морозными кисточками разрисовывал окна, и замысловатый праздничный рисунок медленно – снизу вверх – полз по стеклу. Иногда мы все вместе, не включая света и сгрудившись возле подоконника, смотрели, как на стеклянном полотне окна вдруг появлялись звездочки, снежинки и замысловатые снежные дорожки. Завороженные сказочным появлением красоты из ничего, каждый искал на стекле свою снежинку, планету, звезду. И когда находил, прикасался к ней маленьким теплым пальчиком, растапливая и навсегда закрепляя ее за собой. Звезда проникала в тебя, об этом говорили похолодевшие кончики пальцев, влагу с которых нужно было обязательно слизать, закрепив соединение с прекрасным.

Затем зажигался свет, таинство растворялось, и наступало грустное время, время расставаний. За день мы ближе привыкали друг к другу, становились родней, поэтому вечерний хоровод походил на процессию маленьких печальных гномиков. Под бодрую песню воспитательницы мы шаркали ботиночками по полу, опустив головы вниз. В эти грустные минуты каждый закрывался в себе, чтобы не видеть в глазах

друзей ответную, а значит, большую боль. Так было легче страдать.

А потом приходила мама – добрая, снежная, родная и чуть-чуть забытая.

И пока она надевала соскучившиеся одежды, через ее мягкие случайные прикосновения я вновь привыкал к ней, принохивался, приглядывался, влюблялся.

А дорога на санках домой была самая долгожданная, потому что утренняя игра, предложенная холодной уральской природой, продолжалась. Только жестче смерзались ресницы, и труднее было их разлепить. Но ведь и сил на теплое отогревающее дыхание тоже было больше, ровно на тарелку любимой манной каши и на события всего прожитого длинного дня. Поэтому я усиленно дул на лицо, нагоняя ночь и отодвигая день, приближаясь к домашней, уже растопленной печурке, по своим детским отсчетам – свет-ночь, холод-тепло, мама-папа, люблю-не люблю, быстрее —домой!

## Эпизод 6

Задумываясь над прошлым, мы изменяемся в настоящем – значит, у нас есть будущее... соединение...

Снежной зимой 1960 года мне исполнилось шесть лет. Тогда я не подозревал о Хрущевской оттепели, о нелегких литературных исповедях, о брожении в умах миллионов людей, насытившихся страданиями родины. В жестких фразах, с металлическим стоном отлетающих от кухонных стен, слышались мне глухие покаяния, злоба, недоумение и боль. Из глаз в глаза, над паром еще недожаренной картошки, передавалась почти без слов страшная, обжигающая души человеческая правда. Но натянутые нервы уравнивались усталостью от тяжелой работы. Повседневными обязательствами люди перегружали себя, не оставляя пространства для уничтожающих сомнений. Это там, далеко за Уральским хребтом, умные люди в уютных кабинетах легко и элегантно стирали с заглавных обложек зачитанных книг свои и чужие имена. Им было легче и привычнее. Людям без совести легче прятаться в жизни. А в плотных коммунальных комнатухах, во влажных коридорах, перетянутых бельевыми веревками, труднее спрятать оголенную человеческую суть. Она и не пряталась, не приукрашивалась, на это просто не было сил и возможности. Человек, как оголенный нерв, всей своей кричащей болью вылезал на поверхность. Этим

он был понятен всем, доступен и излечим.

В одной из таких квартир, в комнате из четырнадцати метров, жили мои родители. Трехэтажный кирпичный дом Сталинской постройки весь состоял из коммунальных квартир. Наша квартира на первом этаже была трехкомнатной. В самой маленькой комнате жила наша семья, во второй, побольше, обитала утлая, безвредная старушка, которая всегда сушила сухари на кухне и всегда их пересушивала. С добрым напуганным лицом она подкармливала меня этими огарышками, завернутыми в старые газеты. Я высыпал их на подоконнике своей комнаты и кормил ими рыб. Звали бабушку Таисия. Цветное имя бабушки было гораздо интереснее ее самой. По вечерам через неплотно прикрытую дверь своей комнаты она с любопытством наблюдала, с чем возвращались соседи с работы. По ее мерцающим в проеме глазам я видел, что это самые счастливые минуты прошедшего дня. Бабушка Таисия тайком ото всех курила горькие папиросы и, не пряча, носила на верхней губе черные мужские усы. Мне всегда казалось, что она не совсем настоящая.

В третьей, самой большой комнате, обитала мамина родная сестра с мужем Иваном и двумя сыновьями, Сашкой и Славиком. Комната родственников была самой светлой, с низким балконом, выходившим в дворový палисадник, поющий летом жужжанием пчел и шмелей. Мать и Мария были разные во всем. Не мне судить, но тревогой и суетностью наполнялась наша квартира, когда Иван с Марией

возвращались вечером с работы. Не было главного в широком коридоре, соединявшем наши комнаты – любви и мира. Помню ужасный скандал, участкового милиционера и тени воровства, черным крылом накрывающего нашу семью.

Помню рыдающую мать, стыдом закрывшую меня от навета. Помню взбешенного отца, обнаженные страшные глаза и грубые слова, пеной срывающиеся с его некрасивых губ. Помню крики, как пули дырявившие стены, помню хлопанье дверей, топанье ног, протокол и гробовую тишину, взорвавшую квартиру неожиданно и властно.

Три дня разбирательств, выброшенных в коридор белых полотенец и простыней, выплюнутых обвинений, выплаканных призывов к совести, к покаянию, к примирению, к прощению – ничего – жестокий приговор из уст родственников:  
– Папа – вор. Мама – вор. Я – вор. Воровская семья!

Заработная плата дяди Вани, завернутая в цветную тряпочку и в пьяном забытии спрятанная в общую кладовку под старые книги, взорвала наш дом. Тряпочку на четвертый день нашла бабка Таисия:

– Ты ж, Иван, весь вечер крутился около кладовки, как сумасшедший. Пьяный спрятал, да и забыл.

В тряпочке обнаженным признанием сохли замусоленные десятки, трешки и рубли. Они долго лежали потом на кухонном столе – злые, грязные, но не прощенные. Я тайком от родителей ходил на них смотреть, не приближаясь, издали, боясь их ответного взгляда и прикосновения.

Потом тетка Мария долго плакала, распластавшись на полу коридора:

– Прости, Райка-а-а, стыдно, ой, как стыдно!

А на кухне возле денег – прямая, как конвоир – сидела бабушка Таисия. Но дверь в нашу комнату была плотно закрыта для всех.

– Никогда не бери чужого, сын, никогда!

Этот урок вероломно, болезненно и беспощадно проник в мою душу. Навсегда.

...Соединение...

В шесть лет меня посетила первая влюбленность. Девочку из старшей группы садика, который я посещал, звали Нелли Валлиулина.

В аккуратной барашковой шапочке, в элегантной шубке, она походила на маленькую зимнюю фею. Мягкие движения ее рук всегда притягивали самые красивые игрушки, и я, глядя на нее, не понимал, почему игрушки в ее руках становятся желаннее для меня. Я не понимал, что мне хочется потрогать больше – игрушку, которую берут ее руки, или руки, которые берут эту игрушку. Эта запутанность злила меня, и я убежал в самый дальний конец зимнего садика, чтобы показать всем свою независимость. В сером пальтишке с чужого плеча, в коротком воротнике из черной цигейки, едва прикрывавшем худую шею, я казался сам себе слишком маленьким и незначительным для дружбы с ней. А желание дружбы и любви росло и разгоралось во мне. Эти вырывающиеся на-

ружу чувства пускались порой в отъявленный хулиганский пляс. Я с криком набрасывался то на одного, то на другого сверстника из ее группы, валил на снег и мял, пока к ним не поступала помощь. Но видела ли она мою смелость, понимала ли, что именно в ее сердце была направлена моя бесшабашная отвага? Меня сбрасывали с невинной жертвы и лупили подоспевшие Неллины одноклассники, а зазевавшиеся воспитатели растаскивали нас в стороны, и я видел, как она своими красивыми руками расставляла на снегу красивые куклы. Не оборачиваясь на шум.

Чего я хотел от нее? Чтобы она видела, что нравится мне. И что за нее я готов драться и, если надо, погибнуть в драке. Мне важно было видеть, что она это понимает. Она не видела и не понимала. А может, делала вид. Девочки умеют как-то так – видеть и делать вид, что ничего не видят. Привычка у них такая, дурацкая. Каждый вечер в садике я молил Бога – про которого слышал от бабушки Саши – и просил Его:

– Боженька, пусть родители за мной придут вместе с Неллиной мамой!

Чтобы идти за ней и смотреть на нее издалека. И радоваться, что мы вновь вместе, вдвоем. Родители ведь не в счет. Но за ней всегда приходили раньше.

Правда и тогда можно было, прижавшись к обжигающим металлическим прутьям решетки детского сада, смотреть, как она нежно целует мамочку, как непринужденно смеется, как заглядывает в сумку с продуктами, как обнимает ма-

мину руку в пальто. А потом они уходили в сторону, противоположную нашему дому, не поворачиваясь на прощанье ни мне, ни детскому саду. Две маленькие феи, маленькая и большая. Я сильнее прижимался лбом к холодному забору, и вся моя будущая жизнь казалась бессмысленной и потерянной.

Потом я заболел. С высокой температурой, малиновым вареньем и обморочным сном. Добрая врачиха в отглаженном белом халате со стетоскопом на шее возвращала меня к жизни пронзительно холодными прикосновениями металлической трубочки к груди. И ее «дышите – не дышите» повзрослому, на «вы», переворачивало страничку в моей маленькой, но такой важной для меня жизни.

В канун Нового года со мной произошло страшное происшествие.

За несколько дней до праздника, к радости детей, садик распустили. Кто имел бабушек или дедушек, сидел дома с бабушками или дедушками, приготавливая комнаты, кухни и коридоры к самому любимому празднику в году. А взрослые работали до вечера тридцать первого декабря.

Я с бабушкой Таисией вырезал из цветной бумаги длинные гирлянды. В углу общего коридора стояла еще не развязанная, но уже пахнувшая сюрпризами и подарками зеленая елка. А в родительском комодке, на самом его дне, завернутые в плотную бумагу, лежали мандарины. Комод притягивал как магнит. Можно было часами играть возле него в сол-

датики и машинки, смотреть на рыб или просто стоять рядом и дышать невообразимым запахом приближающегося праздника. И считать, сколько осталось до Нового года дней, часов и минут.

А днем я гулял. Со знакомыми ребятами играли в салки, в снежки, в войну, а иногда в футбол. В зимний. Старый, давно прохудившийся кожаный мячик набили тряпками и зашили. Футбол был нашей любимой игрой, а мячик – ценностью, поэтому хранили его дома. От смены температур после нескольких минут игры мячик смерзлся и становился тяжелым и хрустящим. Как-то раз во время очередной игры на очищенный тротуар дома торжественно и важно въехала машина скорой помощи. Подъехав к последнему подъезду, она затормозила. Пожилая санитарка с чемоданчиком, сверяя номер подъезда, неторопливо скрылась в его темноте. Строго и пружинно стукнула входная дверь. Из кабины скорой вышел молодой водитель, с хрустом распрямил тело, зажмурился от удовольствия и закурил папиросу. Клубы замерзающего дыма повалили в небо. Мы бросили игру и медленно обступили машину. Это было событием. Пять пар любопытных глаз с восхищением облизывали каждую деталь новенькой машины.

Зеленоватый газик блестел эмалированным бампером и белесыми непроницаемыми стеклами по бокам и сзади. Машину украшали гордые красные кресты. Она вся сверкала на солнце, как новенькая. Да она и была новой. Даже сна-

ружи от машины пахло медикаментами, чистотой и здоровьем. Мы обступили ее, и, когда Сашка Ванюков дотронулся рукой до заднего колеса, нас всех подбросило от крика:

– А ну, малышня, пошли отсель, ишь, облупили!

Молодой, всласть покуривший водитель наступательным движением крупного тела отбросил нас от лакированного чуда. Не перечая, без уговоров и сопротивлений мы мигом отбежали от машины. Обойдя ее и смахнув небрежным движением руки налипшую снежную грязь, он вернулся на водительское кресло и осторожно хлопнул дверью. Даже воробьи не сорвались с веток дворовых тополей – так мягок и неслышен был щелчок смазанного замка.

Отойдя недалеко от сверкающей машины, мы продолжили игру. Играли двое на трое. В этот день наша команда состояла из меня и Сашки Ванюкова. Встав на ворота и засмотревшись на машину, я пропустил обидный гол. Мы проигрывали. Сашка, сосед по лестничной клетке, уныло поплелся на ворота, а я, словно сорвавшаяся пружина, молниеносно бросился на ворота противника. Продрался сквозь одного игрока, свалил второго и, чудом удержав мяч в ногах, со всей мальчишеской дури, даже не прицелившись, сочно ударил по нему.

– Г-о-о-о-л! – громко закричал Сашка.

Опережая и заглушая его крик, послышался плотный удар тяжелого мяча, а затем визгливый звон и колющий звук падающего стекла на вычищенный асфальт.

С открытым ртом, с набухающими от слез радости и предчувствия горя глазами, с высоко поднятыми руками, я видел, как мяч легко влетел в заднее стекло новенькой машины, легко пронзая его.

«Здравствуй, мама, Новый год!» – не к месту родилась в голове любимая папина поговорка.

На мгновение во дворе повисла раздвигающая все пространства звенящая тишина. В нее вяло просачивались расстроенные птичьи голоса, шорох сухих вымороженных листьев, скрип далеких шагов и возрастающий стук пяти неокрепших детских сердец.

– Тук-тук, тук-тук, тук-тук...

Мы, не шелохнувшись, стояли впятером, уставившись в дыру в стекле, как в дыру в небе.

– Блин, опять стекло чье-то разбили! – раздался из форточки противный бабий фальцет.

Не сходя с места и не меняя поз, мы одновременно повернули головы в сторону этого крика.

И тут случилось! Случилось то, чего мы боялись, но что неизменно должно было произойти.

Холодным металлом клацнул звук открывающейся двери скорой помощи. Из кабины к вычищенному асфальту не спеша потянулась здоровенная нога в черном кирзовом сапоге. Эту ногу я видел не прямым, а боковым, страховочным зрением. Сил не хватило бы, не выдержало бы сердце смотреть на эту ногу прямым взглядом.

– А-а-а-а-а-а!.. – разорвало тишину улицы.

И в несколько секунд – нет, в одну секунду – нас пятерых смыло со двора. Сдуло ураганом. Только четыре обледененных камня остались на асфальте. А больше никого. Никого. Не было больше никого!

Нас пятерых втокнуло сначала в подъезд, в мой подъезд и в Сашкин подъезд, затем по грязным ступенькам вниз, в подвал – в темный подвал, в страшный подвал, в спасительный подвал – а там кто куда, на ощупь, как дробь из ствола в разные щели: под ящик с картошкой, под картошку, под мешок с углем, под доски, под кучу с тряпьем, под землю – влетели и испарились. Полная тишина. Нас здесь нет! Только предательское сердце в груди: тук-тук, тук-тук, тук-тук!

Я влетел в наш чуланчик с родительской картошкой, врылся в нее, вгрызся и затих. Песок сыпался за шею, лез в глаза. Противно вспотела спина, и рубашка прилипла к телу. Но не это сейчас было главное. «Не шевелиться и не дышать, не шевелиться и не дышать», – пульсировало в голове и во всем теле.

«Не дышать. Но как?» – так же пульсировало в груди.

И тишина, тишина, стонущая тишина вокруг. И вдруг! Приближающийся звук тяжелых шагов... его шагов! Около подъезда... в подъезде... на лестничной площадке: «Ой, как близко, мамочка!»

Слух работал на предельном, не допустимом режиме. Затем я услышал его затихающие прыжки по лестничному про-

лету наверх, наверх, наверх – сердце обожгла спасательная мысль: «Не туда, ошибся!» Но та же мысль срикошетила в обратном обморочном направлении: «Дом-то трехэтажный!»

И, словно в подтверждение, вновь его спускающиеся прыжки. Ниже, ниже, ниже! Громче, громче, громче! Второй... первый этаж... рядом! Сердце взорвал его требовательный крик, стук в дверь. Звук открывающейся двери полоснул ответной болью – соседи. Голоса. Крики. Его резкий приказывающий, их тихие блеющие, выясняющие голоса. Омертвелость в груди, тошнота, страшно – и вот оно!

Шаги вниз, предательский скрип подвальной двери. Он здесь. С нами. В темноте. В подвале! Не дышать!

Хруст песка под его огромными сапогами раздался так близко, будто он стоял в нескольких сантиметрах от моего тела, в нескольких миллиметрах. Скрип каждой песчинки болью отзывался в голове: «Эх, соседи-соседи, папа бы не предал!»

Словно пудовый кулак под дых:

– А ну выходите... выходите, сучата!

«А ВЕДЬ ЭТО Я РАЗБИЛ СТЕКЛО! НЕ САШКА, НЕ КОЛЬКА, НЕ МИШКА – Я!» – болезненно взорвалось в голове.

– Выходите, а то хуже будет!

Передо мной не стояло сомнительного, разрезающего душу вопроса: выходить – не выходить. Но у ребят!.. Третьего

крика не понадобилось.

– Дядя, это не я разбил стекло!

«Эх, Сашка, Сашка!»

Наверное, он был ближе всего к выходу, и крик мужика вонзился прямо в его колеблющуюся душу. А может, тишина после второго крика была такой раздирающей, такой невыносимой, что у Сашки просто не выдержали нервы. Он вышел.

– Кто? Кто разбил?

– Не я, я же... это... на воротах!

– Кто разбил? Говори, гаденыш, кто разбил... ты, ты?

– Не я... у меня варежки вот вратарские, это другие.

– Ах, другие! – и тут раздался звук удара, затем второй, третий...

– Ой, дядя, не надо... это Валька, из тринадцатой... квартиры, не бейте, дядя!..

Наверное, это были не сильные, поучительные, профилактические удары. Но все же это были удары. Здоровый незнакомый мужик в темноте бил моего друга, невинного Сашку Ванюкова, с косоглазием от рождения. Наносил удары по Сашкиному невинному телу! А я, виноватый, лежал рядом, в родной картошке, в темноте, лежал... и знал, что не выйду – ни за что не выйду!

А там изо всех углов заплакали, закричали ребята, как прорвало их. И стали вылезать прямо в лапы мужику, как бабочки на огонь. Тянутся к нему, причитают, умоляют

не бить. Все вылезли до одного, кроме меня. А я взмолился, сильнее вжавшись в картошку:

– Господи! Если Ты есть... если Ты все же есть! Помоги Сашке! Помоги всем! Помоги мне... прошу тебя, Боженька, помоги, пожалуйста! – и, как все, залился горьким, не слышимым плачем.

Но они не слышали меня, они уже выходили из подвала, гурьбой выходили – выводили мужика, себя выводили, пострадавшего Сашку вытаскивали, выводили свой страх и свое освобождение от страха. Соседи встречали их на площадке первого этажа, все дальше от меня, и молодой водитель уже винулся за свой горячечный порыв, и дети что-то надрывно объясняли ему, но уже не в подвале, не со мной, далеко от меня...

А я лежал в темноте, вздрагивая от тишины, один... и уже не мог пойти за ними, выйти к ним, прижатый к холодной картошке отчаяньем, одиночеством, горем и своим маленьким предательством. Вот так.



## Эпизод 7

Мир окружает красота.

Надо только пристальней взглядеться и увидеть ее. Она даже не окружает, она составляет, она и есть мир. Красота – это творение.

Весной в разливах талого снега, на солнечных прогалинах появляются хрупкие тонконогие подснежники. В низинах молчаливого леса отяжелевшими пластами еще лежат темнеющие остатки снега. Белесая дымка поднимается над ними. Свесив грузные лапы, с глухими стонами просыпаются притронутые теплом вековые ели. Всеми стволами, всеми кустиками и зарождающимися травинками лес устремляется вверх, в голубое небо. Оттуда спускается благостное тепло. Оно, как в сказке, притрагивается незаметно к каждой его возбужденной точке. Лес набухает, распрямляется, молодеет. Набирающие силу стволы, пропуская через себя живительную влагу, напряженно гудят. Опускающееся сверху тепло и подступающая снизу вода – соединившись – произведут преобразование, чудо. Но это позже. А пока еще не заполненное пространство природы затаилось в ожидании его. Эта пауза, это молчание перед прыжком в неизвестное, замораживает все вокруг.словно молчаливый зверь перед смертельной атакой, лес готовится к рождению. И оно происходит. Вдруг теплым светлеющим утром каждая почка, каждый

росток, каждое оживающее сочленение, каждое семя с едва звучащим болезненным стоном раскрывают свою плоть. В мгновение ока природа преображается, молодеет, зеленеет, раскрывается, заполняя собой весь мир. Это мгновение неповторимо! Невообразимо, как в сказке, на глазах происходит Чудо. Одно из чудес сотворения. Мертвое становится живым, холодное – теплым, темное – светлым, лес становится зеленым, а мир вокруг – прекрасным! Увидеть красивое непросто. Необходимо желание и труд – надо обязательно развить первое и воспитать второе, чтобы получить ключик в эту волшебную страну красоты.

...Соединение...

Обрывки плавающих паутинок, желтые ранетки, ярко кричащие цветы в палисадниках предупреждали – скоро осень. Зелень на городских деревьях скукоживалась, краснела, желтела, теряя свежесть и упругость. Даже солнце состарилось и меланхолично прикасалось лучами к мертвеющему пространству. Лишь дневное, безоблачное, нервно-оголенное оно обжигало еще землю своими отвесными лучами. Приближающаяся осень пахла сохнувшим на подоконнике укропом и сельдереем, яблоками на столе, сушеными грибами и рябиной. Для меня она пахла школой.

В комнате, в самом ее светлом углу, бесцеремонно отодвинув старую мебель, поселился письменный стол. На черных худеньких ножках, с полированной столешницей, строгий и важный, он снисходительно смотрел на меня, на рыб и даже

на родителей. Два выдвижных верхних шкафчика, открытых для проветривания, отталкивали своей безукоризненной чистотой. Я долго рассматривал его из темного угла комнаты, где стояла моя кроватка, оттуда он казался мне слишком важным, умным и безукоризненным. Он никак не соответствовал моим оловянным солдатикам, самодельным машинам, танкам и катерам. От него исходила неосознанная угроза всей моей маленькой и понятной жизни.

Школа и манила, и страшила, как все незнакомое и новое. Синюю выглаженную форму с карманчиками, белую рубашку с белыми пуговицами, галстук, как у взрослых, даже новые туфли с металлическими бляшками требовала школа. Еще не начавшись, она уже отнимала у меня самое дорогое – свободу, забавы, игрушки, родителей, даже лучшего друга Сашку Ванюкова забирала школа. Чего же она давала взамен? На белом подоконнике, в трехлитровой банке, стояло пять ярко-красных гладиолусов. Строгие, вытянутые и чуть-чуть пижонистые, они скоро тоже попадут в руки неизвестности, в руки школы. Стало обидно за всех – за игрушки, за красивые цветы, за себя, за рыб в аквариуме и даже почему-то за бабушку Таисию, притихшую в своей комнате. Хотя не понятно, за нее-то почему?

Утром первого сентября мама с папой повели меня в новую жизнь. Жизнь знаний. В те далекие времена начало каждого учебного года было большим светлым праздником. Родителям первоклашек давали выходной, над главными ма-

гистралями города висели праздничные транспаранты, люди надевали выходные костюмы, все веселели и поздравляли друг друга с Днем знаний. На улицах с раннего утра стояла праздничная суета, в школьных двориках играли оркестры, летали вырвавшиеся из неопытных рук разноцветные шарики, а из подъездов с алыми галстуками на шее выходили гордые пионеры. На спинах у многих красовались новенькие ранцы и портфели, но абсолютно все школьники несли перед собой, как знамена, огромные букеты осенних цветов. Простота и торжественность, добродушие и смех наполняли осенний воздух города. И улыбки, улыбки маленьких и взрослых людей, отражаясь от чисто вымытых окон, осветляли праздничные улицы города.

Моя школа находилась рядом с домом, практически через дорогу. Мы втроем пересекали эту дорогу, отделявшую дом от школы, взявшись за руки, как дети – мама, папа и сын. Я чувствовал себя взрослым, а родители – детьми, мы облегченно обменивались этими ролями, чуть-чуть опережая безвозвратное время.

После общей линейки, на которой за многочисленностью слов не улавливался смысл, после песни про школу, прозвучавшую из репродукторов, десятиклассники проволокли нас на своих плечах по всему спортивному полю. «Традиция такая», – сказали они нам, вручив на память розовые банты.

Потом маленькая девочка в нарядном платьице пробежала по полю с колокольчиком, возвещающим первый звонок,

и учителя повели своих учеников по классам. Через неразбериху и суету, смех встреч и плач расставаний, через мелькание красных галстуков, белых рубашек, синих костюмов и незнакомых лиц. Торжественная часть закончилась, закончился праздник, началась новая жизнь. Перегруженная цветами молодая учительница провела нас мимо онемевших родителей, потерявших без детей и букетов какую-то осмысленность и взрослость. Кирпичный угол школы скрыл их, и через парадный вход мы поднялись на второй этаж, к нашей первой классной комнате. И вот там, перед классом с голубыми стенами и просторными окнами, перед портретами хмурых мужчин, перед большой коричневой доской в центре, перед рядами удобных парт, я вдруг отчетливо понял, что вступаю в новую, абсолютно неизвестную жизнь. Это поняли все, кто стоял рядом со мной. Столпившись, мы стояли перед распахнувшимися настежь дверьми в пропитанную солнцем классную комнату и не решались войти. Учительница, отойдя в сторонку, с пониманием выдержала паузу. Ее торжественная улыбка подчеркивала важность момента. Войдя в светлый класс, она пригласила нас войти. Мы робко протиснулись в аудиторию и расселись по первым попавшимся партам. Бархатистый голос учительницы мягко разлетелся по аудитории:

– Здравствуйте, меня зовут Елена Евгеньевна.

Началась новая жизнь...

Мой первый год обучения пролетел как одно волшебное

мгновение. Я всей душой был влюблен в свою классную руководительницу Елену Евгеньевну, даже не в нее, а в ее завораживающий голос, который хотелось слушать и слушать – неважно, что он вещал. Голос снился мне по ночам, и в обморочной тишине его вибрирующая мягкая интонация обволакивала всегда один и тот же смысл:

– Учи, Валя, учи все, что я говорю!

Волшебному воздействию голоса Елены Евгеньевны не было границ, ответному прилежанию не было предела, и оценки в конце первого класса сами говорили за себя: пятерки по всем предметам, включая нелюбимую мной, но обожаемую Еленой Евгеньевной арифметику. Родители щедро наградили мой успешный ученический старт. Вжавшись в огромное кресло ИЛ-18, я впервые испытал упругое и хмельное чувство полета, чувство превосходства над теми, кто остался внизу, кто не подчинен взмахам синих лопастей стремительной машины. Море насытило меня солью, влюбило на всю жизнь в загадочное слово «Коктебель», в барашки волн, в синюю бездонность и непостижимость понимания этой бездонности. Ребенком на берегу моря я ощутил чувствами то, что лишь подтвердил пониманием во взрослой жизни.

Я увидел восхитившую меня на всю жизнь красоту, уходящую в небосвод, в границу Земли и Солнца, в бесконечность и еще дальше ее. Я увидел то, что не мог увидеть только зрением. Я увидел море единым живым организмом, нежно до-

трагивающимся до тебя, целующим тебя или вдруг хлещущим по телу упругими ладонями волн. Я увидел море безжалостным, свирепым и беспощадным, в гневе выбрасывающим все из своих недр. И гнев его был страшен. Море могло быть и любящим беззаветно, и губящим своей страстной любовью.

Никогда не забуду тело утонувшего мужчины на гальке берега. Отца и мамы рядом не было, и никто не мог отвернуть мой взор от картины смерти. Некрасивой, безобразной, синюшной. Несчастный лежал в ожидании врачей и милиции на берегу, и волны кончиками пальцев дотрагивались до его ног. Море просило прощения у человека – я видел это, я это понял. И человек прощал море, потому что в ответных прикосновениях чувствовалось прощение. Так жизнь, встречаясь со смертью, уравнивается встречными стремлениями.

Ночью, вжавшись в теплую и влажную простыню, я плакал о том, что взрослые называли брэнностью жизни. Но я плакал без обозначения причин, которые так любят взрослые, просто из жалости к внезапно ворвавшейся смерти, к неудачно оборвавшейся жизни. Больше на том пляже я никогда не купался, мне казалось, что все та же волна лижет все те же камни, и я почтительно обходил его стороной. Но, как ни странно, этот эпизод лишь обострил мою мальчишескую любовь к этому могучему существу – морю. Море – это не вода, море – это любовь, понял я. А в любви, как и в жизни, зачем-то всегда присутствует смерть. И когда крылья само-

лета возвращали меня обратно на уральскую землю, возвращались мы уже не втроем, с мамой и папой, а вчетвером – в каждом кончике выгоревшего волоска, в каждой частичке моего тела жил новый друг. Прилетели мы вечером, и я специально не мылся вечером, чтобы потом, холодным августовским утром, познакомить Сашку Ванюкова со своим новым другом. Он доверительно лизнул мое загорелое плечо и, хитро задумавшись, признался:

– А я думал, ты врал. Ну, это... что оно, он... соленый.

Я не врал. Сашке я вообще редко врал, ну так, иногда сочинял для красочности, чтобы жить веселее было.

## Эпизод 8

В сентябре в заново выкрашенной школе начался второй класс. Вместе с началом занятий во мне неожиданно появился новый человек. Этот новый сомневающийся мальчик вдруг перестал верить в правдивость произнесенных слов. Он стал замечать то, что взрослые так любят и умеют скрывать от детей. Например, что папа часто приходит после работы какой-то странный, возбужденный, агрессивный, недобрый к маме и ко мне. Что мама вечерами плачет за стынущим ужином одна, пряча от меня слезы. Что взрослые могут обманывать друг друга и зачем-то принимают ложь за правду, на самом деле не веря ей. Что не всегда искренность обещаний соответствует их исполнению. Но больше всего я усомнился в главном для себя – а не обманывают ли взрослые детей? Ответ ошеломил меня – обманывают еще как, часто морочат и надувают нас! Я стал прислушиваться, приглядываться, принюхиваться к взрослым. Жизнь превратилась в разведывательную игру. Добытые сведения порой неприятно охладили предательскими откровениями. Я спрашивал, допытывался, уточнял, хитрил:

– Мам, а ты любишь Марию?

– Конечно, она же родная сестра.

– А папа любит ее?

– Думаю, не так сильно, но тоже любит. Родственница же,

живем вот рядом, она помогает нам, мы им... а почему ты спрашиваешь?

– Мне кажется, вы их не любите, не простили им те деньги.

– А ты их любишь... простил?

– Да, конечно... Славика люблю, тетку Марию... а Сашку нет, он злой.

– Ну и мы их любим! Иди уроки учи... любишь – не любишь... математику опять на вечер оставляешь, когда голова уже не соображает.

Я шел учить математику, хотя действительно не соображал уже ничего. Я верил и не верил маминым словам. И было ужасно неприятно то, что мама может сказать мне неправду, хоть маленькую, но ложь. Поздним вечером, когда я уже «спал», я слышал, как мама передавала папе наш разговор о Марии, Иване, Славике и Сашке. Тяжелые жесткие слова вколачивал отец во все их Киселевское семейство. Вбивал намертво, навсегда. Досталось и алкоголику Ивану, и глупой дуре Марии, и всем их отпрыскам. Я затыкал уши подушкой, чтобы не слышать его взрослой правды о своих двоюродных братьях. И тетка Мария с дядей Иваном казались мне более пострадавшими от жестоких слов отца, чем сам он от их Киселевских дел.

Почему отец не может простить им? Это же так просто – забыл – и все, и всем сразу стало жить легче. Например, как я Сашку Ванюкова прощал или он меня за то, что я насы-

пал в его ранец мокрого песка, и ему за это здорово влетело. Мать же простила сестру, я это видел по ее печальным глазам, по ее страдающим вздохам. Внутри простила. А отец – нет. И почему они врут мне и Марии, что все хорошо, все забыто, все в прошлом? Чему тогда верить – их словам и поступкам или своим чувствам? Неосознанно меня стало тянуть к брату Славику, к тетке Марии, к Ивану; и я стал закрываться от матери и отца. Отца я вообще стал побаиваться, а в редкие минуты общения пытался не смотреть ему в глаза и избегать слова «папа». Мне кажется, он это как-то по-своему понял. Но молчал.

Я сразу почувствовал, что мать с охотой приняла выстраиваемую мной дорожку примирительства к своей сестре и ее семейству. Мать приняла. Но отец нет.

– Чего ты торчишь там каждый вечер?

– Славик уроки помогает делать.

– А сам что, не можешь? Ты у меня глупый, что ли?

– Нет, не глупый, но...

– Вот и нечего туда таскаться, сам занимайся, понял?

Что мог я ответить, кроме как «да понял». Правда, назло без слова «папа». Но, на самом деле, я не понимал ничего. Ночью я слышал, как мама пыталась защититить меня, но, наткнувшись на отцовскую непримиримость и жесткость, уступила. Уступила легко, совсем не по-взрослому. Могла бы и заступиться за Марию, сестра все же. Меня очень злила мамина уступчивость, огорчало мое соглашательство.

Не до конца понимая сути, я как-то догадывался, что ради чего-то незначительного мы обманываем друг друга в главном, от этого в теплой комнате становилось холодно и одиноко. Внутри меня поселились незнакомые, угрожающе противоречивые чувства, и я не мог разобраться, как себя вести с близкими мне людьми. Даже спросить было не у кого. Мама все рассказывала папе, а Сашка Ванюков был плохим советчиком в этих странных дела. Скосив глаза вбок, он бубнил всегда одно и то же:

– Надо со всеми дружить, со всеми надо дружить.

Как будто я и сам не понимал, что надо, но как? Смирившись внешне, я не смирился внутренне, пряча все свои чувства глубже и глубже. Первым пострадавшим от моего внутреннего конфликта была математика – слабое звено. С началом второй четверти задачи по математике усложнились. На уроках я еще их решал или списывал у соседки втихую, но дома списывать было не у кого, а самому решать их удавалось все труднее и труднее. Я вдруг переставал соображать в элементарном и, уткнувшись в пустые тетрадные клеточки, внутренне «провисал», не думая ни о математике, ни о чем вообще. Сначала это злило немного, а потом я даже стал испытывать радость от своей «глупости», как выражался отец – вот и пусть, вот и буду глупым.

Елена Евгеньевна не сразу стала ставить плохие оценки в дневник, сначала они появились в тетрадях по математике. «Два» за домашнюю работу, «три» за классную рабо-

ту, «два» за контрольную. На внутренний протест силы были, но отвечать за его последствия я боялся. Очень боялся. Ночной страшный отец мог испугать кого угодно. Я боялся его больше всего на свете. Листки из тетрадей с пугающими двойками и тройками – тщательно разорванные – вместе с потоками воды бесследно исчезали в нашем коммунальном туалете. Ничего, кроме заслуженного облегчения, не испытывал я, разрывая очередной вырванный лист. Но с дневником было сложнее, этого я не учел.

Классная руководительница, пожалуй, первой поняла – со мной происходит что-то неладное. Она написала в тетрадке просьбу родителям обратить на меня и на мою успеваемость внимание. Просьба осталась не услышанной. В классе было двадцать семь учеников, и уследить за каждым из нас было сложно. Учитель надеялся на честность и добросовестность учеников, и этим иногда пользовались недобросовестные. Этим воспользовался и я. Через некоторое время, когда двойки посыпались как из рога изобилия, а математические тетради осознанно грязнились и «уменьшались», Елена Евгеньевна повторила письменную просьбу к родителям. Просьба вновь не дошла до адресата. Красивая и строгая, она взволнованно спрашивала меня:

– Дорогой мой, что с тобой происходит, у тебя все в порядке?

– Устаю, – врал я, – папа в командировке, мама весь день работает, по вечерам голова болит...

Елена Евгеньевна внимательно на меня посмотрела и аккуратным почерком написала маме записку.

– Передай сегодня вечером маме, хорошо?

– Хорошо, – сказал я, зная наперед, что не передам.

Было стыдно выбрасывать персональное послание матери в унитаз. Записка с датой и размашистой подписью учительницы страшила аккуратной официальностью. Не вникая в смысл записки, я оставил ее мокнуть на лавочке в соседнем дворе. А вскоре весь мой дневник запестрил красными тройками, двойками, единицами. В один день он вдруг весь покрылся пугающими красными отметинами. И строгая Елена Евгеньевна уже не просила, а, выставив перед собой защитную холодность, приказывала:

– Маме дневник покажешь, если папа в командировке.

Он же в командировке?

– В командировке.

– Если папы нет, пусть мама придет завтра днем в школу, хорошо?

– Днем мама работает...

– Тогда пусть в дневнике распишется, на всех страницах... хорошо? Ты меня понял, посмотри мне в глаза!

– Хорошо, Елена Евгеньевна, – шептал я, пытаюсь ускользнуть от ее пронизательных глаз.

Весь ужас ситуации дошел до меня по пути домой. Валил пушистый мягкий снег, я слизывал его с губ и не чувствовал влаги. Во рту было сухо от страха и гнетущей неизбеж-

ности. Дома ждала мать – она работала во вторую смену – а вечером один на один с отцом, с его вопросами, протыкающими душу взглядами. Стало невыносимо. Спину прожигал огненно-красный дневник в ранце, он мешал возвращению домой. Около получаса я крутился по близлежащим к дому улицам, испытывая облегчения лишь в минуты удаления от дома и заслуженной расплаты.

«Эх, как хорошо бы было сейчас заболеть не большой болезнью и умереть», – думал я. Не сразу, конечно, умереть, хотелось бы увидеть, как, собравшись в плотный кружок над моим изможденным телом – мама, папа, Елена Евгеньевна, все родственники – будут переживать и мучиться. Как, вздевая руки вверх, любимая учительница воскликнет в небо: «Что же мы наделали, подлые, что мы, жестокие, натворили!» Слезы матери, слезы отца, слезы всех школьников и учителей – простительные и прощальные – будут капать на мой, никому уже не нужный дневник.

Я стоял около подъезда своего дома, замерев от страха и жалости к себе. Я плакал, но как-то без слез, всухую. И вдруг я ясно осознал, что идти домой не могу. Я развернулся и стал бродить по дорожкам около дома. Огибая дом очередной раз, я случайно увидел внизу под первым этажом полузасыпанные снегом окошки, ведущие в подвал. Подойдя поближе, я спрыгнул в одну из ниш, прикрывающих эти окошки. В ней было почти сухо, только по углам скопились небольшие кучки снега. На дне ниши лежали стопки старых

газет, колотые кирпичи, осколки разбитых бутылок. Оглядевшись по сторонам, я достал дневник и быстро засунул его под самую высокую стопку влажных газет. Дневника там совсем не было видно, он весь исчез за ворохом старых бумаг. Избавившись от страшной улики, воспрявший, оживший и облегченный, я поспешил домой.

Мама на кухне варила пельмени. Эх, уральские пельмешки со сметанкой, с перчиком и укропчиком, с прозрачным бульончиком на самом доньшке тарелки. Каждый пельмень герметичен и сохраняет в себе вместе с мясной начинкой бульон. Тесто тонкое, мягкое, упругое, и начинка разная – мясная, грибная, картофельная, капустная, рыбная.

– С чем пельмени будешь сынок, мне уходить скоро, почему задержался так долго?

Мама осыпала меня вопросами из кухни, пока я отряхивался, разувался, разоблачался, приготавливался почестнее посмотреть в ее добрые глаза. Она вышла, подошла, обняла, помогла раздеться и под взглядом бабки Таисии повела на кухню кормить мужчину, он пришел с тяжелой работы и должен восстановить растроченные в учебе силы. Уплетая мамины пельмени, я немного расслабился – оказывается, никто ничего не знает, ни о чем не догадывается – жизнь так же идет дальше своим чередом – не обличая, не разоблачая, только пугая немножко. И уже из коридора, одетая и готовая к работе, мать выдохнула на прощанье:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.